

С а н д ж а р Я н ы ш е в

НАЙМАН

Мой первый взгляд на поэта Наймана был похож на его, Анатолия Генриховича, ожог от поздних, современных молодому ему, стихов Анны Андреевны Ахматовой. И не похож. 10 марта 2000 года я шел к нему в гости не как к динозавру, почему-то пережившему свой юрский период и живущему среди едва оперившихся карликов. Я шел к своему *soulmate*¹ — по крайней мере, именно это я, автор едва готовой к изданию первой своей книги, возомнил, прочитав свежайшую наймановскую «Ритм руки»². Сегодня мне даже совестно уточнять, что именно я тогда имел в виду (склад мышления? лексику? метафизику?..)

Впрочем, время показало, что свойственная юности заносчивость не всегда неправа. Что-то близкое тем моим чувствам имел в виду и сам А.Г., надписавший, спустя годы, одну из своих книг: «Санджару Янышеву, другу детства», — подразумевая, представляется мне, себя, свое отношение к детскому, всегда новому, мироощущению. А уж через это чувство отметивший некую общность (родство?) с адресатом надписи. Теперь мне *так* хочется верить.

...Не помню, где я добыл номер его телефона, помню фразу Наймана о том, что «никаких противопоказаний» к нашей встрече он не видит. Спустя три дня я все же решил сделать запись о том вечере; она сохранилась.

Итак.

Запись о встрече с Н. (отрывки)

«К 20.00 отправился к Найману (договорились утром). Врасплох — поэтому пришлось потратиться: купил маникюрный набор, купил “дирол”... Носки не купил (10 рублей осталось —

¹ Родственная душа (*англ.*).

² Сборник стихов Наймана, вышедший в 2000 г. в издательстве «Вагриус» (Москва).

на пиво) и всю дорогу переживал: вдруг дырявые... Всё обошлось; даже за стол усадили; отказывался, есть, мол, не хочу: “Я знаю, это все так говорят!” (типа — расслабься, что уж тут поделаешь)...

Сидел в кресле, вещал (не иначе), верхняя часть — голова, шея в складках, уши — напоминала патиссон; тапочки с задниками (чтоб не шлепать), джинсы. Обстановка в комнате — обычная для интеллигентного мэна. Книги, в том числе английские, французские, картины, фотографии, статуэтки. Почему-то телевизор, хотя: “ТВ усредняет любого; если ты такой [показывает], оно тебя таким [показывает] сделает: его задача усреднить, нивелировать...” Два ноутбука — вот они, его окна в мир...

Говорит очень медленно, с паузами, цезурами, так, что не понятно, кончил ли он начатую десять минут назад мысль или дух переводит. Но нить держит... “Это я по болезни такой серьезный, обычно я знаете какой шутник!” [В смысле: мне палец в рот не клади; да, об этом еще Довлатов писал.]

Очень мнительный, очень “мэтр”... но — ранимый болезненно, навеки уязвленный, очень ребенок.

“Что такое постмодернизм? Это безответственность. Постмодернист уже не может написать просто: трава зеленеет. Духу не хватает. Он пишет: трава зеленеет, *так сказать*”.

О Кушнере: “Будь ты хоть семи пядей — ежели *тогда* печатался, то и не дергайся теперь — свое получил!.. Одно время у него было такое: Бродский в Америке — я в России. Потом Бродский умер и... что же выходит теперь? Смешно”.

О Евтушенко, Вознесенском говорит много, с удовольствием; их отличие: первый делает гадость, вполне искренно заблуждаясь. И очень на Бродского обижается (как Кушнер). Вознесенский на встрече Хрущева с интеллигенцией: “Я хочу читать стихи!” (То есть: вы мне рот не затыкайте, я поэт и буду читать, хотите вы того или нет.) В. часто об этом вспоминает — с удовольствием. Только почему-то не вспоминает, *что* за стихи он тогда читал: о Ленине!

О Вере Инбер, о ее предательстве Пастернака. Многие тогда “заболели”, чтоб не идти на собрание. Она — уже после того, как “постановили”: “Я, я хочу сказать!” Уже и не нужно ничего говорить, уже и предавать не требуют... Сказала-таки.

“Сегодня у меня был счастливый день [пауза]. Давно не писал стихов — и вот, случилось”. С удовольствием прочитал одно, второе — с монитора.

— А вы, — спрашиваю, — стихи как пишете, в компьютер?

— Нет, что вы! — почти возмущился. — Только с голоса. Это уже потом набираю, мне приятно видеть их набело... отпечатанными.

Прошел к креслу. Как бы себе повторил последние две строки нового стихотворения — по памяти, получая несказанное удовольствие. Последнее слово: “самоубийство”...»

Теперь, спустя двадцать три года, решил то стихотворение разыскать. Вот оно: «Написать — это имя свое написать...» Финал такой:

*Угадай начертанье сквозь пламя и мглу.
Это важно, как жизнь, здесь нельзя ошибиться —
это имя звезды у вселенной в углу,
здесь описка в полчерточки — самоубийство.*

Стихотворение включено в сборник «Львы и гимнасты» (2002).

«Книг стихов» Найман не писал, разве что циклы. Сборники собирал, постскрипtum. В поздних стихи датировал — чтоб видна была прямая, путь внутри года: 5 июня, 8 июня, 12... Чтоб видна была хронология. Конечно: Deus conservat omnia — «Бог сохраняет всё». Но почему бы Ему слегка не помочь?..

Друг мой художник Яков Красновский вчера вспомнил один сюжетик (наймановское слово), на историю не тянущий, но кое-что к портрету прибавляющий.

Сюжетик с Блейком

Осенью 2008-го он подвозил Анатолия Генриховича из аэропорта (тот прилетел с ташкентского поэтического фестиваля, где мы неделю куролесили большой веселой компанией). У Якова с собой была оформленная им книга моих стихов «Природа», он вручил ее Найману. Тот прочитал вслух подзаголовок: «Книга стихов».

— Что это значит?

— Ну... — Мой друг замешкался. — Что это... книга стихов.

— Но это ведь и так понятно, разве нет?

(Мол, поскольку стихи собраны в книгу, то зачем подчеркивать данный факт еще и в подзаголовке?)

— Санджар пишет стихи «книгами»...

— Он что, Вильям Блейк??

Найман не любил литературные «жесты», поэтому и в «книге стихов» усмотрел книжность, от которой уже шаг до фарисейства. В том же духе было и пожелание, которое он мне высказал в одну из первых встреч: не стоит слишком «мелькать», не надо суетиться: каждая публикация должна стать если не фактом Литературы, то *событием* в жизни поэта. Надо ли говорить, что у меня на тот момент не то что книг — журнальных публикаций было две или три. Так что пожелание А.Г. относилось к кому угодно (см. сатирическую пьесу Наймана «Жизнь и смерть поэта Шварца»), может быть, он адресовал его себе самому, почему нет.

Я же все равно старался этому пожеланию следовать и не слишком «мелькал»: чем больше любил Анатолия Генриховича — тем меньше докучал своими визитами (связь здесь, на первый взгляд, обратная, однако по мне — самая прямая), о чем сейчас, разумеется, жалею.

Лишь старался делиться им с некоторыми друзьями.

Так, спустя какое-то время после той, первой, встречи, привел к Найману одного ташкентского поэта, надумавшего перебраться в Москву. А вот тут уже целая история.

История с арбузом

На выходе из станции метро «Дмитровская» мы купили астраханский арбуз. Почему пишу «астраханский» — а никаких других тогда в Москве не было.

Арбуз был тяжелый, мы несли его, кажется, по очереди.

— Ооо, — Найман с порога замахал руками. — Что это такое?!?..

Мы с другом переглянулись.

— Арбуз. Вам.

— Совершенно напрасно! Вы заберете его домой.

— Но мы думали...

— Нечего тут думать! И слышать не хочу. Заберете домой!

Арбуз остался ждать в коридоре.

Нас накормили. И даже, кажется, напоили (водкой).

А за непринятый арбуз мы Найману отомстили. В какой-то момент, отвечая на расспросы хозяев, мой ташкентский друг упомянул о двадцати долларах, взимаемых российским консульством за рассмотрение вопроса о вступлении узбекистанца в гражданство РФ. Надо сказать, что примерно такой в те годы была и обычная зарплата в Узбекистане: 20-25 долларов.

Реакция Наймана была типично наймановской. «Позвольте мне вам эту сумму презентовать? Это, право слово, такая малость, а для вас — какое-никакое решение проблемы...»

Но у узбеков — своя гордость, и денег у Наймана мы не взяли! Зато арбуз потом перли в далекий Павловский Посад, где я тогда жил: сперва на себе, потом на метро, потом полтора часа на электричке, потом опять на себе. А в подъезде дома, почти у самой двери в мою квартиру, мы его кокнули о ступеньки.

Интересная штука. В четверке «ахматовских сирот» Анатолий Найман, по замечанию Бродского, был «признанным остроумцем» (в пушкинской плеяде эта роль принадлежала Вяземскому). Остроумие часто, особенно едкое, колкое, — оборотная сторона если не цинизма, то скепсиса. Оно подвергает осмеянию не потому, что «это смешно», а потому, что знает «этому» цену, как правило, невысокую.

Тем не менее, априорным скепсисом (сформировавшим позже и фирменную стихотворную интонацию) — в отношении многих величин, в том числе фигуры А.А.А., — отмечена реакция молодого Бродского, «меланхоличного Баратынского», в его собственной классификации.

«...И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял — знаете, вдруг как бы спадает завеса, — с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы — и вдруг все стало на свои места. <...> В те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то и не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек».

И вот, после постигшего Иосифа Александровича сатори в электричке, начался уже тот опыт, «когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты».

В наймановской характеристике Анны Андреевны человеку предшествует поэт. (То же, забегая вперед, можно сказать и о самом Наймане: поэта в нем больше, чем пресловутого остроумца-пересмешника).

В своих «Рассказах о Анне Ахматовой» Найман пишет: «В московском “Дне поэзии” 56-го года была напечатана элегия Ахматовой “Есть три эпохи у воспоминаний...” Я не мог отдать себе отчет в том, чем это поразило меня больше: тем ли, что она еще жива, или содержанием и красотой». Впечатления о следующей обнаруженной подборке Ахматовой он уже отлиывает в бронзе: «Всё было обязательно, интонация неотменима, власть каждого слова несомненна. Но главное — звук <...> невещающийся в стихи».

В этих последних словах — внимание! — Найман, сам того не ведая, пишет уже о позднем себе.

«Ни в каком поэтическом хоре не звучал, не мог звучать такой голос... <...> Я ждал встречи с великой, несдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой — встречи, которой “не может быть”, — и эта встреча случилась. Разочарования не было».

Конечно же, несомненно и непреложно, от поэта остаются стихи. В некоторых — гораздо более редких — случаях остается человек, интересный не только другим поэтам (всегда примеряющим на себя чужую мифологию) или, там, словесникам. Человек, вырастающий из «биографии», как Ахматова и Бродский. Либо — человек, вырастающий из стихов, как Найман.

Светская жизнь, подарившая ему славу записного остряка, старалась его сократить, подобно телевизору из наймановской реплики, огранить, а по сути — ограничить: его же фразами, меткими и едкими, оправленными другим остряком — Довлатовым и потому (как широко улыбался Найман в нашем последнем телефонном разговоре) перешедшими в разряд «довлатовских».

Следующему сюжету предпосылается эпиграф из Сергея Донатовича.

«Найман — интеллектуальный ковбой. Успеваает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки — ядовиты».

Сюжетик с паспортом

Ташкентская часть фестиваля подошла к концу, предстояла поездка с гостями-поэтами на поезде в Самарканд и Бухару. Один из организаторов фестиваля, изрядно к тому времени утомившийся, счастливым образом потерял в собственной квартире паспорт — и остался в Ташкенте.

— А Ф. почему не едет? — спросил меня Найман.

— Да паспорт куда-то дел, третий день ищет...

Реакция была убийственно-молниеносной (или молниеносно-убийственной).

— А скажи ему: завтра — в Америку, и сразу найдет!

Шутка, особенно адресная, часто напоминает колкость, и поэтому редко бывает безобидной. Остряк, сам того не замечая, приподнимает собственное забрало — и делается уязвимым. Эпитет «трассирующая» не случаен.

Но не так же ли уязвляет, уличает автора любой написанный им текст (как Создателя — Его несовершенное творение), не так же ли поэт «проговаривается» своими стихами?

В статье об Анатолии Наймане и последней его книге «Выход»³ я писал и про особый наймановский синтаксис, который, «подобно длинному гибкому жалу, ищет свое продолжение, будь тожны чувства или тело мысли». Речь устная и речь метризованная движутся навстречу друг другу — где-то посерединке обнаруживается стихотворение. Кажется, никто в последние лет... сто не был так естествен внутри поэтических метров, как Найман.

*Я расхожусь на всех как ненужный дождь,
малую часть клеймя как казенный кошт,
псиную стаю дразня как сухая кость,
нёбо уценкой киш-миша, дряблая гроздь.*

³ С. Янышев. «Общей черточки с теми, кто ныне...» О книге Анатолия Наймана «Выход» // «Интерпоэзия». 2021. № 2.

*Родня, чужня, не жалея меня, гоп-братва,
как я не жалея пускаю лес на дрова,
как позабыл, хоть навеки ты та ж, я тот ж,
тебя, середины прошлого века чува.*

*Память психолог, но есть пути напролом,
сквозь камень и дебри, как помнят корни и гном,
ручей и заря, невсерьез, спустя рукава.
Дом времеед — но и первым забудет дом.*

(«Тема с вариациями»)

Поэт — это ведь не про «поэтичность» мира, а про способ мышления. Для поэта большого, как Найман, стихосложение равно поиску Реальности — от связи между явлениями, событиями жизни до завета с Создателем.

Как человек разумный, Найман не пытался обнять необнимаемое — сложносочиненных людей с их психикой и физиологией он вынес за пределы поэзии: напрямиком в прозу, которой тоже написалось довольно много. Но как человек думающий, он не мог не попытаться определить свое место в окружающем мире: не среди людей, а рядом с деревьями и муравьями, и не в социальном смысле, а в онтологическом и натурфилософском. Чем сложнее выбранный (нет, выбравший поэта) путь, чем скрупулезнее труд, который подчас сродни собирательству, требующему предельно мелкой моторики, — тем подробней словарь и тем естественней, безыскусней речь. Конечно же, в анамнезе — и пастернаковский «захлеб», и мандельштамовское «бормотание», и ахматовская «монументальность»... И вот всему этому на смену приходит речевая повседневность (не «постановка», а «документ»), чье главное свойство — экспансия на все прочие стороны жизни. Включая быт, в самом посястороннем смысле слова.

Как, например, в этом обращении к своей квартире:

*Шлепанец стоптан, весом вселенной прихлопнут
жук-медальон, муха-биплан, а по углам —*

*всё где есть место, родство, коридорность комнат,
череп сверчка, трещины метрик, жемчужный хлам.*

*Чья ты? В чьей власти? Разве что тех, кто убыл:
та же — пока господин твой жилец не исчез.
Чашка в буфете, в чаще шалаш, часовни купол —
адрес твой, градус твой, тучка с краю небес.*

(«Жилье с 1970 по 2020»)

Вот выдержка из письма А.Г., адресованного мне (самого последнего):

«Знаю по своему опыту: бродишь, тычешься и вдруг попадаешь под кожу этого самого тельца из строчек, оно уже и твоё, ты понимаешь не только *что* оно говорит, но и что говоримое есть “на самом деле”».

А вот — почти о том же — мысль Наймана, сказанная им в «Фильме о Анне Ахматовой» (2008, режиссер Хельга Ландауэр):

«Есть “реальная жизнь” — и она у большинства людей продолжается один день, одну неделю, один месяц в жизни, вообще: когда что-то становится вдруг реальным... И есть жизнь, как у Ахматовой, которая состоит годами из этой *реальной жизни*».

В своей статье я сравнивал стихотворение Наймана (любое!) с лабиринтом. Иные тексты, в которых А.Г. ищет формулу вещи, — тоже лабиринт, но состоящий из одной точки: всё сводится к уточнению слова, понятия, пределов понимания. Как в том, чудесно обретенном спустя двадцать три года, неслучайном — теперь это совершенно ясно — стихотворении:

*Это время займет. Надо вспомнить сперва
запах дома и шорох, и выбрать, насупясь,
из тетёшканий няни — язык и слова,
из большого захлеба — ласкательный суффикс.*

*Надо вспомнить всё это — чтоб это забыть!
Не признать за свое. Не смешаться с чужими.
Не запутаться в «слушай» и «кто там?» и «выдь!»,
а ни больше ни меньше как выпростать имя.*

*Струйку звуков. Значков. Заглуши голоса
любострастных невнятиц и воинских кличей
и судебных повесток: должна полоса
иероглифов — с подлинным быть без отличий.*

О каком «подлинном» идет речь, я понял совсем недавно, спустя почти двадцать лет после первой встречи: 9 апреля 2019 года. Это был вечер моих друзей, Вадима и Жени, московская презентация двух только что вышедших стихотворных книг. В какой-то момент заговорил Найман. Он говорил долго, минут двадцать пять, говорил медленно, большими периодами; серьезное оказывалось несерьезным, «сюжетик» становился «историей», вспоминаемые им события тридцати- или пятидесятилетней давности проецировались на экран дня сегодняшнего; круг, как и положено, замыкался... И я, по слову И.Б., «вдруг понял, с кем или, вернее, с чем имею дело».

Я увидел человека совершенно равного тому, о чем он говорит. В стихах ли, в устной речи — но «реальность» Наймана, его «подлинность», его «на самом деле» — об этом вот равенстве.

Когда-то он вывел блестящую формулу (о Довлатове): «его числитель, то есть представление о себе, был почти равен знаменателю, то есть его способностям». Если обратить формулу в сторону формулировщика, звучать она будет так: его числитель, то есть его жизнь, был почти равен знаменателю, то есть его стихам.

Фразу про то, как А.Г. «держит нить», из моей первой реакции на человека-Наймана, я позже повторил, но уже о Наймане-поэте: о том, как он «схватив бечеву еще до начала речи, намотав на запястье, каждую секунду — а сколько секунд, сколько лет, сколько веков длится высказывание? — до конца стихотворения держит своего “змея” внутри зрения». Разница с повседневной речью только лишь в том, что материя наймановского стихотворения более густая, более сжатая — как и положено стихам. Однако читал он их всегда размеренно, раздумчиво, словно бы рождая — мышлением языка: здесь и сейчас.

...Ту же свою речь, на вечере моих друзей, он закончил так:

«Я говорю — я это знаю за собой — не то чтобы совсем сумбурно, но сравнительно сумбурно. Поэтому в конце надо сказать: “Простите, что я говорил сумбурно”, — но я этого как раз не говорю, потому что про то, о чем я говорю, можно говорить только сумбурно».

С годами на смену Найману-остроумцу пришел Найман-ироник. Ум был по-прежнему острый, но острее все чаще было направлено не на собеседника, а на самого себя. И «ты» тут окончательно переименовано в «я», которое ничем не лучше, нежели «он» — человек: любой, каждый.

*Квиток без прав на еще виток. Ты не уникам.
Хоть и изгой. Ничей не любимец, хоть и шармёр.
Из думающих. Такому не след быть умником,
твой род из земных — на него с сотворенья мор.*

(«Тем итоги убийственны, что итоги...»)

Ирония, в отличие от сарказма, позволяет предельно широкий, предельно свободный взгляд на вещи. Это не «маска для беззащитных» (как в «Служебном романе» учит нас товарищ Самохвалов). А — по Томасу Манну — «величие, питающее нежность к малому».

Ирония сталкивает человека с конечностью существования — она же дает ему утешение.

В стихах Наймана — начиная с самых ранних — ирония жила: на правах «пятой сущности». Она-то, вместе с сочувствием к каждой малой участи, доле, и вынесла автора к вершинам — и поэзии, и жизни.

*Да что, в самом деле, случилось?
Ну, рад умирать, ну, не рад.
Ведь это от музыки чисел
свобода — не так ли, Сократ?*

*Ее еще нужно услышать,
а если ты глохнешь, щегол,
не проще ли струнами вышить
для голоса темный чехол?*

*Не в такт и не счетом уйти мы
согласны — а с тем, что болит,
не звук, а лучи паутины
покинуть — не так ли, Эвклид?*

*Не жалуйся, лютня, что узко
последнее было жильё.
Ах, музыка, музыка, музыка,
ведь я еще помню ее.*

